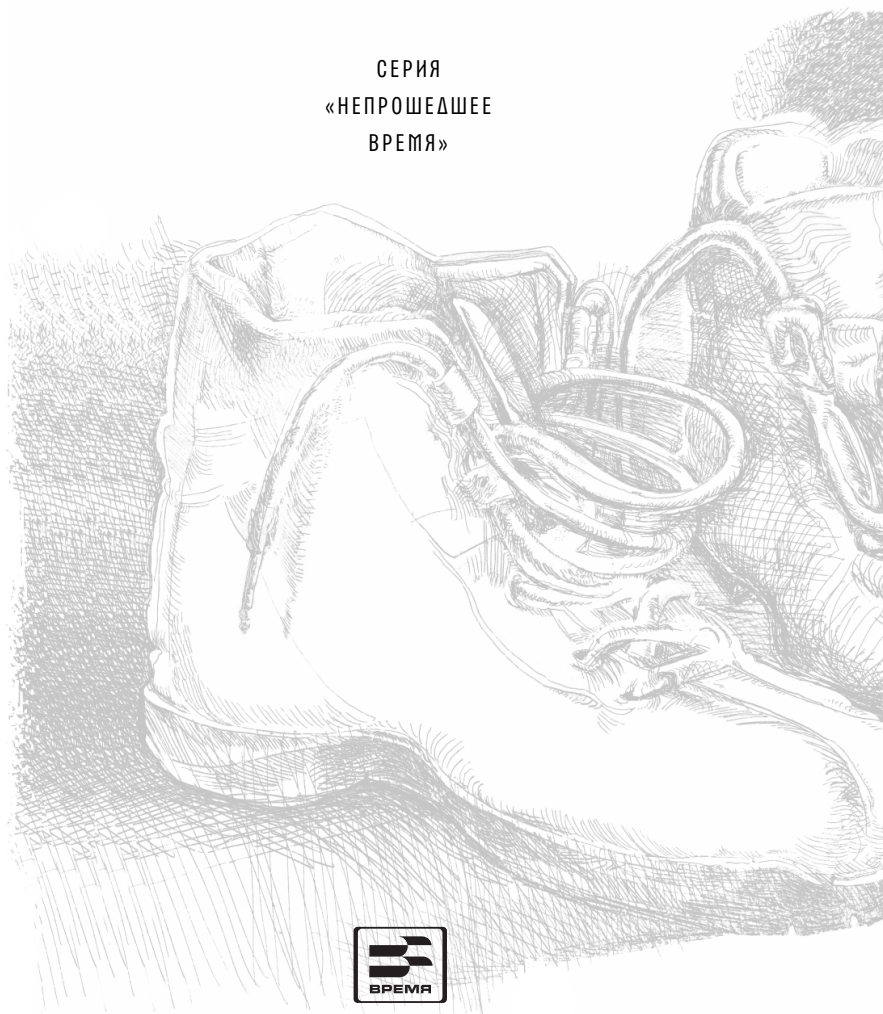


СЕРИЯ
«НЕПРОШЕДШЕЕ
ВРЕМЯ»



МОСКВА 2020



ТАТЬЯНА
ПЛЕТНЕВА

ПУНКТ
ТРЕТИЙ

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6
ПЗ8

Издательство благодарит
Фонд А. И. Солженицына за помощь
в издании этой книги

Художественное оформление
ВАЛЕРИЙ КАЛНЫНЬШ

В оформлении переплета использован
рисунок МАРИИ ВОЛОХОНСКОЙ

ПЗ8 ПЛЕТНЕВА, Т. И.
ПУНКТ ТРЕТИЙ : РОМАН / ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА ПЛЕТНЕВА ; СОПРОВОД. СТАТЬЯ
ВИКТОРА ШЕНДЕРОВИЧА. — М. : ВРЕМЯ, 2020. — 448 с. — (НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ)

ISBN 978-5-9691-1952-9

1982 год. Сотрудники КГБ во время обыска конфискуют роман Александры Юрьевны Полежаевой, в котором рассказывается история диссидента Рылевского, отбывшего срок за размножение и распространение запрещенного тогда «Архипелага ГУЛАГ». В одном из персонажей романа читающий его майор КГБ узнает самого себя; его пугает, что ему отведена роль двойного агента и что не только он один может увидеть свое сходство с героем романа Первушиным. Чтобы отвести от себя возможные подозрения, ему необходимо уничтожить роман раньше, чем его прочтет кто-либо из коллег. В ходе обыска найден документ, позволяющий арестовать Александру Юрьевну, Рылевского и их друзей. Отправив своих подчиненных конвоировать арестованных, майор сжигает роман. Роман, который мы читаем вместе с майором КГБ Первушиным, состоит из пяти глав, каждая из которых соответствует одному дню. Истории персонажей — от диссидентов до гэбистов и сотрудников лагеря — переплетаются. Александра Юрьевна старается в каждом увидеть человека и понять его позицию. География романа — Москва, Ленинград и лагерь на Урале; хронология — 1979—1981. Роман воссоздает атмосферу советской жизни этого периода — от диссидентской кухни до лагерного барака.

ISBN: 978-5-9691-1952-9

ББК 84(2=411.2)6



9

© Т. И. ПЛЕТНЕВА, 2020
© В. А. ШЕНДЕРОВИЧ, СОПРОВОДИТ. СТАТЬЯ, 2020
© «ВРЕМЯ», 2020

ХРОНИКА НЕТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Случаются в жизни длинные сюжеты.

Почти сорок лет назад, в начале восьмидесятых, неприка-
янный юноша, заметно поврежденный службой в ЗабВО им.
Ленина, я, как больная собака в уголок, любил забиться в под-
московный поселок Востряково, на дачу к моему другу Юре
Льву. Там были свежий воздух и ночлег на чердаке, был ман-
гал — и были люди...

А дача-то была не Юркина, а его тестя — профессорская
была дача!

Профессора звали Давид Гольдфарб, и был он знаменитый
генетик и не менее знаменитый отказник*. Публика в Востря-
ково собиралась соответствующая...

Там-то я и увидел вблизи диссидентов.

Наступали андроповские времена. Кто-то из гостивших на
даче только вышел на свободу, кто-то шел на посадку — по хри-
стианским делам, за самиздат, за «Хронику текущих событий».
Меня неприятно поразило, какие они все симпатичные люди.
Там, на Юркином чердаке, с некоторым запозданием, я прогло-

* Тем, кому показалось, что они знают эту фамилию, не показало-
сь. Диссидент Александр Гольдфарб — сын того профессо-
ра. — В. Ш.

тил за пару ночей «Архипелаг ГУЛАГ», там читал ардисовского Бродского и что-то «посевное». На даче профессора Гольдфарба я и увидел Таню Плетневу.

Таня была христианкой, и в некотором смысле — первой христианкой. Первой, которую я увидел своими глазами. Она писала стихи о волхвах и звезде, а я не твердо понимал, о чем это вообще (я был вполне советский юноша). Стихи мне не понравились. Работала Таня уборщицей, и это тоже казалось мне странным.

Станным был я сам, совмещавший любовь к Окуджаве с уважением к Ильичу.

А Таня, моя ровесница, выпускница Московского геологоразведочного института, в 1981 году отказалась сдавать госэкзамен по научному коммунизму и, как говорится, вышла вон. К этому времени она участвовала в правозащитном движении, помогала политзаключенным. В 1983 году вышла замуж за осужденного по 70-й статье Льва Волохонского, и брак был зарегистрирован в СИЗО КГБ г. Ленинграда, в том самом проклятом доме на Литейном, где перед расстрелом сидел Гумилев...

С середины восьмидесятых Таня жила на даче профессора Гольдфарба каждое лето. В начале перестройки вышел из лагеря Волохонский (его я тоже помню краешком памяти), потом из «совка» выпустили наконец самого профессора...

Давида Гольдфарба встречал в аэропорту Рональд Рейган. А профессорская дача в Востряково, приют симпатичной диссиды, была теперь обречена на возвращение в руки государства рабочих и крестьян...

В последний раз я видел Татьяну Плетневу весной 1990 года — Юра Лев и Оля Гольдфарб уезжали в Америку, и мы прощались с ними, думая, что прощаемся навсегда.

Спустя десять лет, уже совсем в другие времена, Юра переслал мне роман Плетневой «Пункт третий» с просьбой кому-нибудь показать. И я показал, сам, к стыду своему, в диком цейтноте телевизионной жизни, лишь пробежав текст глазами. В модном московском издательстве печатать роман отказались, о чем я с чистой совестью сообщил моему другу.

Прошло еще почти двадцать лет, и Юра снова прислал мне роман — его вторую редакцию, с прежним предложением: показать издателям. И я ахнул, впервые погрузившись в эти страницы. Это оказалась настоящая, подлинная, мощная книга. Тот самый «кусочек горячей дымящейся совести», о котором писал Пастернак...

Вы будете читать этот роман не из уважения к биографии автора. Вас затянет в хронику давно не текущих событий, написанную с таким отчаянием, какое дается только подлинным опытом, и с таким знанием людей, какое дано только большому писателю. Должен предупредить: литературное мастерство Татьяны Плетневой заденет многих профессионалов. Персонажи ее книги — абсолютно живые, и даже самые страшные из них написаны словно изнутри. Редчайший дар писательской эмпатии! Пластичный язык и точность деталей дают сильный эффект присутствия: у читателя «Пункта третьего» есть шанс прожить на всю катушку то, что, по счастью, его миновало...

Этот роман — о давно прошедшем времени, но время в России движется кругами, и, хотя красное знамя сменилось триколором, а Христа тут теперь вколачивают в головы с той же силой, с какой раньше вколачивали Ленина, все это лишь декорация унылого русского ужаса. Никуда не делся капитан Васин, тут как тут и лейтенант Первушин, и шныри, и автозаки... Все это — здешняя константа, похоже, как и безнадежная

маргинальность тех, кто ценою своей судьбы готов встать на пути русского молоха. И авторские примечания об обычаях лагерной жизни, разбросанные по страницам романа, смотрятся вдруг памяткой на будущее...

А еще этот роман — о любви, потому что о чем еще может быть роман, как не о любви и не о смерти? А еще — он густо насыщен поэзией, от ахматовской до самиздатской, и это обстоятельство подтолкнуло меня, спустя десятилетия, снова заглянуть в стихи самой Татьяны Плетневой и снова ахнуть.

...Только небо и ветер в ветвях над рекой — хороши,
Да у низких домов, где крест-накрест заклеены стекла,
Будто нынче война — чуть заметно кольшется жизнь,
Как бельё на веревке, что за ночь почти не просохло...

Случаются в жизни длинные сюжеты.

Один из них — о романе Татьяны Плетневой «Пункт третий» и о ней самой, которая приходит сегодня в русскую литературу с запозданием в двадцать лет.

Ужас, конечно, но, как говорится в том анекдоте, не «ужас-ужас». Если примерить к местным срокам, от Радищева до Замятина, — так это вообще ни о чем. Подумаешь, двадцать лет!

*...И, по причине умножения
беззакония, во многих
охладеет любовь...*

Мф: 24,12

ΓΛΑΒΑ 1

19 декабря 1979 года

УТРО

1

Виктор Иванович Васин, капитан и РОР* одной из уральских зон, всю ночь мерз. Накануне от него ушла жена, сбежала, как в кино, с заезжим собаководом.

Не прожив и недели в Четвертинке, собачий инструктор позабыл про собак и прилип к васинской бабе. В клубе были танцы, в кино крутили что-то про любовь, и весь поселок обмирал, следя за их романом. Виктор Иванович тяжело страдал запоями. Последний из них как раз и пришелся на Надькин загул и сильно эту историю продвинул.

Жизнь научила капитана функционировать, не прерывая питания: он появлялся там, где надо и когда надо, но действовал машинально, совершенно не въезжая в про-

* РОРом или режимом в просторечии называется заместитель начальника колонии по РОР — режимно-оперативной работе. — *Здесь и далее примеч. автора.*

исходящее. К концу первой запойной недели равно неинтересны становились ему жена Надька, начальник зоны Ключиков и штабной кот Фофан; со всеми общался он одинаково: безучастно-вежливо.

В штабе привыкли к Васину и во время запоев почти не приставали, старались не заглядывать даже в рорский кабинет, где Виктор Иванович тянул свой рабочий день: дремал, курил и подбавлял потихоньку, по мере надобности.

Поселок Четвертинка представлял собою нечто, расположенное в буквальном смысле вдоль и поперек зоны.

Вдоль длинной стороны зонного четырехугольника стояли в ряд простые деревенские избы, и от внешнего забора зоны, украшенного колючкой и всем, чем положено, их отделяла только разбитая ухабистая грунтовка. На углу зоны грунтовку пересекало шоссе; по одну сторону его тянулся все тот же забор с колючкой, с другой стороны в беспорядке вихлялись серые двух- и трехэтажки недавней постройки. Строили их из чего-то такого, что летом раскалялось и гадко пахло, зимой же промерзало насквозь. Жить в таком доме можно было только с бабой; холостые умники, употреблявшие камин или электрогрелку, все равно мерзли — по ночам в поселке часто не бывало электричества.

Капитан Васин проснулся по будильнику, без четверти шесть, чумной, похмельный и замерзший. Ночной холод неожиданно вытрезвил его, довел, сука, почти до ясного ума. И этим не вовремя прорезавшимся умом с мерзлой задницей вкупе ощущал Виктор Иванович какую-то невосполнимую потерю, сквозную брешь в своей и без того

невеселой капитанской жизни, и очень не хотелось просыпаться окончательно, чтоб ненароком не понять какую.

Заснуть же снова было невозможно по причине холода. За окном ворочалась тьма с метелью, в меру разбавленная зонным заревом, — от васинского дома до забора с колючкой было шагов сто, не больше. Ровно в шесть в зоне прекратились гул, звяканье и крики, умолкла стройка — ночная смена кончилась, и в наступившей тишине поехали вдруг звонки в дверь — длинные, короткие, штук десять подряд. Совершенно больной и несчастный капитан потащился открывать. Пол как палуба уходил из-под ног, гулял вверх-вниз и вправо-влево. В темном закутке перед дверью шторм утих; найти на ощупь дверную задвижку Васин не смог, но зато сразу нашарил выключатель и включил свет. Лучше бы он этого не делал, потому что немедленно обозначилось отсутствие Надькиного шмотья в прихожей: шубы ее не было, сапог, сумки — всего, что, как выяснилось теперь, эту прихожую наполняло. А была на вешалке только его собственная шинель, висела она сиротливо, и пустая вешалка скалилась ему в лицо. А сверху грустно поблескивала его же фуражка. И всё.

Виктор Иванович не успел ни заплакать, ни заматериться, потому что в дверь опять зазвонили, застучали, завопили тонким, совсем не Надькиным голосом.

Поддерживая левой рукою правую, как при стрельбе, капитан сосредоточился и открыл; из-за двери надвинулась на него большая, в цветастом халате баба, жена его кореша и соседа, старшего лейтенанта Волкова.

Волчиха вплыла в коридор, молча обошла Виктора Ивановича и враз заполнила собою кухню.

— Ты вот что, Вить, — сказала она, когда капитан уже пристраивался к яичнице с чаем, — ты бы побрился, а то, Волк мой говорил, сегодня там у вас с Перми начальник будет.

Приняв водки с рассолом, Виктор Иванович попробовал побриться — не в ванной, а за столом, перед Надькиным зеркалом. Волчиха нависала сбоку, ловко заклеивала порезы клочками мокрой газеты, говорила без умолку, кто и что думает в поселке о Надькином побеге.

Из зеркала на Васина тоскливо глядел тощий, с запущеными глазами серо-зеленый мужичонка.

Волчиха провожала его обстоятельно и даже всплакнула, подавая шинель в коридоре.

— Надька-то, Надька твоя — сука и есть, а ты приходи к нам вечером, я пива возьму, — повторяла она, и Васин вдруг подумал, что эта вот толстая своего Волка нипочем не бросит, и сам чуть не расплакался от тоски и обиды.

На воздухе стало легче, качка и тошнота прошли, сработали, видно, и чай, и рассол, и Волчихин завтрак.

Небо расчищалось, перло в мороз, но звезды заглушены были светом прожекторов, как всегда.

Ровно в семь капитан Васин миновал вахту и приступил к работе.

— Поднямайсь, поднямайсь, в пязду!.. Ня то счас Поднямайло придет, е...й в рот!.. — орал заспанный шнырь*, стоя посреди секции**.

«Напрасно господин Миттеран делает такие опрометчивые заявления», — спокойно отвечало ему радио из коридора.

Игорь Львович Рылевский открыл глаза и с ходу высказал искренние, но однообразные пожелания шнырю Колыме и господину Миттерану.

Печка погасла ночью, барак выстыл; ээки долеживали в условном тепле последние минуты перед началом дня.

Прошагала под шконкой барачная мышь, звеня коготками по холодному крашеному полу, и Игорь Львович, не вовремя опустивший ноги, дослал ее туда, где уже находились дневальный Колыма и премьер Франции.

Обычный утренний озноб; плывущая под кожей тоска, что не дает проснуться по-настоящему и принять день на грудь. Засыпая, Рылевский обещал себе начать утро с молитвы, а начал вот — с мата; одевался он долго, сучьи валенки не высохли за ночь. Натягивая их, Игорь Львович начал медленно читать «Отче наш», но лишь об оставлении долгов успел — погнали на проверку. И про искушение и про лукавого дочитывал он на ходу. Искушение здесь одно: дать волю своему гневу; вот по этому столу, липкому, тошнотному, снизу ногой вмазать, чтоб миски

* Шнырь — дневальный, то есть ээк, отвечающий за состояние секции.

** Секция — часть барака.

веером разлетелись; а потом первому же, кто встрянет, об этот стол морду разбить, да и второму, и всем, кто рядом чавкает. В очередь, сукины дети, в очередь.

...С утра вы особенно благочестивы, Игорь Львович, особенно с утра. Взять пайку хлеба насущного да и дергать отсюда в барак. И сахару прихватить — тоже насущно, авось там Пехов горячего уже заварил. Поздравляю вас, Игорь Львович, помолившись. Конгратьюлейшн.

Писем, писем уже месяц как не отдают, суки, и чем их достать — непостижимо.

— Игорь Львович, чаю, — приветствовал его, учтиво приподнявшись со шконки, Анатолий Иванович Пехов, сухой, похожий на молодого волка брянский домушник.

— Благодарю, а успеем? — засомневался Рылевский.

Они сидели рядом, гоняя из рук в руки горячую кружку; после каждого глотка Рылевский поджимал губы и заводил глаза к потолку. Станным образом были они похожи — смуглые, тощие, с одинаковыми морщинами у рта и глаз, напряженные, готовые к прыжку звери, — похожи и не похожи одновременно: приземистый, ширококостный политик и стройный, легкий, как мальчик, вор.

— А если и сегодня не отдаст, — спокойно говорил Пехов, продолжая давний разговор, — придется за долги поучить маленько.

Печь уже растопили, и секция постепенно нагревалась.

— Да, за долги, — расслабленно кивал Игорь Львович. В тепле клонило в сон, и бодрости от чая не было никакой — тошнота только да звон в голове. — За долги — придется, — повторил Рылевский, не вникая.

— Развод! — закричали в коридоре.

Больше всего на свете кислородчик Прохор Давидович Фейгель не любил вставать рано. Впрочем, поздно вставать он тоже не любил; вообще его способность к длительному и глубокому сну удивляла многих.

Проснувшись, Прохор Давидович обыкновенно закуривал и долго лежал, замирая от страха и слабости, когда нет никаких сил встать, а пробудившаяся прежде тела память уже сообщает, что все пропало — проспано окончательно и бесповоротно, но не уточняет что.

Сегодня, однако, волноваться не приходилось: будильник показывал безобидное 8:10, а за окном еще стояла неглубокая темнота, и ясно было, что вот-вот она начнет синеть и рассеиваться. Прохор потушил папиросу об угол кровати и уже собирался отплывать обратно в сон, как вдруг в коридоре заныл телефон — мерзко, тревожно, неотменимо.

Пришлось встать — попусту в такое время ему не звонили. Кислородная служба многому научила Фейгеля: например, проснувшись от звонка этак на треть, он умел отвечать самым что ни на есть бодрим и ясным голосом.

— Але, здравствуйте, — сказал он.

«Р» у Прохора был роскошный — раскатистый, картавый, твердый и мягкий одновременно.

— Здравствуйте, здравствуйте, — передразнила трубка.

Фейгель спал стоя, прислонившись к стене; ноги переминались отдельно от него, где-то там, вдалеке, на холодном полу коридора. Трубка, однако, его перехитрила.

— А теперь — проснись на минуту, запиши и спи дальше, встанешь — прочтешь.

Фейгель послушно сыскал ручку с клочком бумаги, записал, что просили, и действительно проснулся.

А записал он вот что: сегодня в 10:30 в УКГБ к такому-то следователю вызывают свидетельницу Полежаеву, и адрес.

— Ты отзвонись сразу, как выйдешь. С Богом, — серьезно напутствовал свидетельницу Фейгель.

— Да я так, на всякий случай, думаю — ерунда, — сказала она и дала отбой.

Проход прошептал к кровати — досыпать, как и было велено. Совесть не возражала — напротив, сон его стал теперь дежурством у телефона.

Коридорный сквозняк поднял бумажку со стула, повертел ее по полу и швырнул в угол, на кучу грязных ботинок.

4

Валентин Николаевич Первушин, лейтенант КГБ, поднимался тоже с большим трудом. И хотя время его подъема — 9:00 — большинству соотечественников показалось бы санаторным, Валентин Николаевич всей душой ненавидел даже само расположение стрелок на циферблате — будто регулировщик отмахивал — налево, налево — наезжавшему на горло дню.

Беда Первушина была в том, что он никак не мог расстаться со своей первой профессией; выродившись теперь в хобби, она сильно портила ему жизнь.

Валентин Николаевич обожал переводить — медленно, в свое удовольствие, забросав словарями стол под низкой уютной лампой, — выцеживать смысл из чужого, старинного и вливать его в новую форму; русский язык был для этого дела весьма гож. Иногда, переводя, он почти видел, как это устроено: вот языки — два дерева, стоящих рядом; спускаемся вниз по одному стволу и дальше, под землю, туда, где переплелись корни, находим там нужный путь и начинаем подниматься — по корням другого, по стволу его — вверх, и вот, схватилось: сидим на нужной ветке, ровно напротив той, с которой начали спуск.

Валентин Николаевич не любил высоких мыслей и старался их не иметь, и тем слаще казался ему этот шаткий древесный образ.

А еще Первушин не любил вспоминать историю своего перемещения с филфака в органы; будничная была история, обычная. В комитете взят он был сперва в отдел по работе с иностранцами, а потом где-то на звено повыше что-то сломалось, и группу их распихали, куда Бог послал. Или не Бог. Его вот месяца три назад отрядили бороться с инакомыслием; экспертиза рукописей была теперь его специальность.

Несомненное понижение совсем не опечалило Первушина: у него оставались низкая лампа, переводы, покой вечерних трудов. И вообще — меньше ответственности, суеты: голова свежее.

Борьба же с инакомыслием казалась Первушину идиотизмом, кормушкой для самых тупых, ни к чему не способных коллег. Вот ведь что происходит: одни, вместо того

чтобы найти нужную книжку, — а найти можно, право, в Москве-то уж точно, — и почитать вечерком, под лампой, — борются за какую-то там свободу слова, другие — ловят первых, сажают их, а стало быть, делают из них героев, почти святых; и когда третьи начинают защищать первых, эти неизменные вторые сажают и их, и так далее, до бесконечности, — система работает на саморасширение, штат управления растёт — кормушка.

Три месяца объясняли ему специфику предстоящей работы, а совсем недавно ввели в состав следственной группы по делу N.

— Следователь Первушин, эксперт, — представил его кто-то кому-то вчера, и он с трудом удержался от смеха.

А теперь он брился, глядя в зеркало на заспанного эксперта Первушина. Сегодня ему велено сидеть вторым на допросах; тонкий психолог какой-то так порешил. Под эту психологию можно целый день прокемарить, не напрягаясь, мозги к вечеру приберечь.

И так сладка была эта мысль следователю Первушину, что обычная его утренняя апатия сползла с него быстро и без усилий.

Ровно в половине десятого Валентин Николаевич отправился на службу.

ДЕНЬ

1

Погода была мерзкая; на плечи плюхался мокрый снег; он же, перемешанный с грязью, веером вылетал из-под колес.

И только приоткроешь дверцу —
День — мимо, день — сплошной транзит, —

сочинял Валентин Николаевич, продвигаясь по своему обычному утреннему пути. В такое время пешком выходило быстрее, чем на троллейбусе по забитому кольцу.

Строчки ворочались лениво: так, от нечего делать.

На повороте с кольца в переулок встречная машина обильно окатила первушинские штаны и ботинки, и Валентин Николаевич быстро додумал четверостишие:

...Природа так созвучна сердцу —
От них обоих нас мерзит, —

и остановился, соображая, стоит ли записать.

Райотдел КГБ помещался в приятном, желтеньком с белыми колоннами двухэтажном особняке в одном из тихих посольских переулков.

Валентин Николаевич долго топтался у вешалки, отряхивая плащ; насквозь промокшие ботинки сменить было не на что.

— Что вы там возитесь, проходите скорее, — не слишком любезно обратился к нему капитан Бондаренко.